

А. В. Успенская<sup>1</sup>

## ПРОБЛЕМА РУССКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ САМОБЫТНОСТИ В ОЦЕНКЕ Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО

Размышления о грядущей судьбе России в творчестве Достоевского неразрывно связаны с попытками осмысления сущности русского национального характера. Но дать общую характеристику национальному характеру долгое время казалось Достоевскому делом чрезвычайно сложным. Народ и интеллигенция (а в сущности, аристократия, ибо она являлась в России единственным по-настоящему образованным сословием) со времен Петровских реформ являли две различные стороны русской нации. Если для юного писателя, входившего в кружок петрашевцев, это не составляло существенной проблемы, так как в грядущем социальном государстве эти противоречия должны были исчезнуть сами собой, поскольку воцарятся всеобщее равенство и братство, то позже, на каторге и в ссылке, писатель получил совершенно иной — трагический — опыт общения с народом. Поиски возможности восстановления утраченной национальной цельности (другими словами, национальной идентичности) Достоевский начал именно на каторге, когда на собственном опыте пережил трагизм раскола духовной целостности нации, величайшую отчужденность, которую испытывает народ к образованному слою общества: «Вы, дворяне, железные носы, нас заклевали...» В рассказе «Мужик Марей» («Дневник писателя», февраль 1876 г.) Достоевский писал, что однажды на каторге у него возникло детское воспоминание, как его, испуганного ребенка, пожалел и успокоил крепостной мужик. «Каким глубоком и просвещенным человеческим чувством и какою тонкою... нежностью может быть наполнено сердце иного грубого, зверски невежественного крепостного русского мужика...» Почему преодоление этой розни оказалось возможным только в детстве, возможно ли ныне преодолеть этот раскол? Достоевский вспоминал, что именно с этого момента стал смотреть на каторжников совсем другим взглядом, без злобы и ненависти. И все-таки писателю часто казалось, что народ и интеллигенция вовсе утратили точки соприкосновения и виноваты в этом именно образованное общество.

В вышедшем в свет в 1872 году романе «Бесы» под сильным влиянием «Нечаевского дела» писатель бросает горький упрек двум последним поколениям русской интеллигенции, отошедшим от народной правды и приведшим Россию к краю пропасти. Старшее поколение, люди, вышедшие на общественную арену в начале 1840-х годов, поколение Герцена, Белинского, Грановского, Тургенева, самого Достоевского, обвинены в том, что они подпали под власть «бесов». Бесы ко-

пились в России еще с петровского времени, резко разделившего интеллигенцию и простой народ, но именно в 1840-е годы они приобрели особенную власть над обществом. Во-первых, это бесы национального нигилизма: и неудавшийся философ Степан Трофимович Верховенский, и модный либеральный писатель Кармазинов утверждают в романе, что в России нет ничего своего, оригинального, все изобретения, творения искусства и культуры заимствованы у Запада, Россия почти безнадежно отстала от Европы, и чем скорее она отрешится от своей самобытности и поспешит догнать Запад, тем лучше. Достоевский очень точен в своем изображении этого безоглядного западничества. Еще один прототип Верховенского, поэт и переводчик Владимир Печерин, движимый болью за свою темную, отсталую страну, дошел в поэме «Торжество смерти» до опасной крайности: «Как сладостно отчизну ненавидеть! / и жадно ждать ее уничтоженья!».

Второй уровень «бесования», также заимствованный у Запада, — это религиозный нигилизм, то есть атеизм. Начавшись как кабинетная игра пресыщенного ума, атеизм, проникая в массовое сознание, становится настоящей разрушительной силой. Особенно опасным представлялось Достоевскому, что поколение 1840-х годов бросилось активно проповедовать свои идеи, смущая незрелые умы. В романе учениками Верховенского-старшего являются почти все «бесы» младшего поколения — нигилисты 1860-х годов: Николай Ставрогин, Шатов и его сестра Даша, Лиза. Биологическое порождение нигилиста Верховенского (хотя и не его ученик) — демонический нигилист и мошенник, революционер и уголовник, провокатор Петруша Верховенский. В романе «Бесы» ответственность за разрыв национальных связей, за так и не появившийся на российской почве цельный национальный характер Достоевский возлагает на интеллигенцию.

Однако в середине 1870-х годов взгляды писателя претерпевают заметную эволюцию. От безоглядного осуждения российской, ориентирующейся на Запад интеллигенции он приходит к убеждению о возможности преодоления пропасти между простым народом и образованным сословием и формирования единого национального характера. Эти размышления отразились в романе «Подросток» и в «Дневнике писателя».

Трагедия интеллигента, оторвавшегося от народных начал, народной правды, уже была воплощена в нескольких образах, прежде всего Раскольников и Ставрогина. В романе «Подросток» была сделана попытка соединить народное и западничское, открыть тайну национального самобытного характера — это сложный, не до конца проясненный образ Версилова. Он западник, но при этом чувствует связь с русским народом. Он живет в гражданском браке с простой крестьянкой, прекрасной и доброй женщиной. Показательное его отношение к ней: здесь смешиваются и барская надменность, и высокомерие, и даже желание бежать

<sup>1</sup> Профессор кафедры философии и культурологии СПбГУП, доктор филологических наук. Автор более 70 научных публикаций, в т. ч. монографий: «Античность в русской поэзии второй половины XIX века», «Античность и русская литература: мотивы, образы, идеи», «Антологическая поэзия А. А. Фета», статей о творчестве Н. В. Гоголя, И. С. Тургенева, Д. С. Мережковского, В. В. Набокова, И. А. Бродского и др. Почетный профессор СПбГУП. Награждена медалью «100 лет профсоюзам России».

от нее — и невозможность расторгнуть эти узы, уважение, доходящее до почитания, смирение перед ней, ее душевной чистотой и мудростью.

Как и во всех поздних романах Достоевского, сюжет «Подростка» имеет разные семантические пласты. Первый — бытовой, с интригами, тайнами и скандалами, второй — бытийный, аллегорический. Отношения Версилова с Софьей Андреевной, матерью главного героя, несомненно, имеют мистериальный характер. В них проявилась показательная черта русского интеллигента — стремление с тоской отвернуться от народного начала, устремленность к европейскому идеалу — и в то же время ощущение невозможности для русского просвещенного сознания удовлетвориться европейской цивилизацией, уже рассыпающейся, затронутой тлением. Версилов — пожалуй, первый из героев Достоевского, который ощущает это трагическое противоречие. Лучшее, что дала миру европейская культура, представляется ему в облике картины Клода Лоррена «Ацис и Галатея», которую он видел в Дрезденской галерее. Это мечта о «золотом веке» — «чудный сон, высокое заблуждение человечества! Золотой век — мечта, самая невероятная из всех... для которой умирали и убивались пророки, без которой народы не хотят жить... Ощущение счастья, мне еще неизвестного, прошло сквозь сердце мое, даже до боли: это была всечеловеческая любовь». Но Версилову кажется, что Европа, когда-то создавшая этот идеал, неудержимо движется к закату. Он говорит о начале 1870-х годов, Франко-прусской войне и Парижской коммуне, когда восставшими был сожжен дворец Тюильри: «...тогда особенно слышался над Европой как бы звон похоронного колокола. Я не про войну лишь одну говорю и не про Тюильри; я и без того знал, что все пройдет, весь лик европейского старого мира — рано ли, поздно ли... но как носитель высшей русской культурной мысли я не мог допустить того, ибо высшая русская мысль есть всепримирение идей...» Версилов чувствует одиночество, понимая, но не принимая и революционное разрушение, и месть реакционеров. «...я, как русский, был тогда в Европе единственным европейцем... у нас создали веками какой-то еще нигде невиданный высший культурный тип, которого нет в целом мире — тип всемирного боления за всех. Это тип русский... он взят в высшем культурном слое народа русского...»

Версилов считает, что именно в этом мы опередили Европу: «В Европе этого пока еще не поймут. Европа создала благородные типы француза, англичанина, немца, но о будущем своем человеке она еще почти ничего не знает. И, кажется, еще пока знать не хочет. И понятно: они не свободны, а мы свободны. Только я один в Европе, с моей русской тоской, тогда был свободен...» и далее Версилов высказывает важнейшую мысль: «Один лишь русский... получил уже способность становиться наиболее русским именно лишь тогда, когда он наиболее европейец. Это и есть самое существенное национальное различие наше от всех...»

«Дневник писателя» начинает выходить в свет в 1876 году, сразу же после романа «Подросток». В его февральской книге (статья «О любви к народу. Необходимый контракт с народом») Достоевский выдвигает

на передний план колоссальную фигуру Пушкина, в чьем творчестве и человеческом облике осуществилось это искомое единение правды народной и дворянской интеллигенции. В «Пушкинской речи», также напечатанной в «Дневнике писателя» за август 1880 года, Достоевский еще раз возвращается к мысли, что именно Пушкин примирил народную правду с правдой Петра I, убежденного в необходимости коренной ломки косной русской жизни. Поэт сумел осознать глубинные чаяния народа, важное из которых — устремленность идти по тому же пути, что и Запад. Величайшая заслуга Пушкина — понимание, что деятельность Петра в коренных своих основаниях не противоречит народу, «...стремление наше в Европу, даже со всеми увлечениями и крайностями его, было не только законно и разумно в основании своем, но и народно». Пушкин, по мысли Достоевского, первым глубоко понял простой народ. Все, что есть в русской литературе истинно прекрасного, «взято из народа, начиная с смиренного, простодушного типа Белкина, созданного Пушкиным. У нас все ведь от Пушкина». Уже в ранних произведениях Пушкина поворот к народу до того беспримечен, что Достоевский объясняет его «необычайной великостью гения». Но Пушкин понял и интеллигенцию, оторванную от российской почвы, создав удивительно точные образы Алеко и Онегина — скитальцев с мировой тоской, вечно мятущихся, неудовлетворенных.

То, что Пушкин проник в тайну обеих крайностей русской души, делает его величайшим представителем русского национального характера. Русские писатели, идущие по стопам Пушкина, и в среде интеллигенции находят народные типы — это герои романов «Обломов» или «Дворянское гнездо». Все, что в этих типах векового и прекрасного, — от соприкосновения с народом: «Они заимствовали у него его простодушие, чистоту, кротость, широкость ума и незлобие, в противоположность всему изломанному, фальшивому, наносному и рабски заимствованному» («О любви к народу. Необходимый контракт с народом», февраль 1876 г.).

Размышляя о возможности становления общенационального характера, Достоевский выдвигает в «Дневнике писателя» идею «контракта» между интеллигенцией и народом: «...мы должны преклониться перед народом и ждать от него всего, и мысли, и образа; преклониться пред правдой народной... Но, с другой стороны, преклониться мы должны под одним лишь условием, и это *sine qua non*: чтоб народ и от нас принял многое из того, что мы принесли с собой. ...наше пусть остается при нас, и мы не отдадим его ни за что на свете, даже, в крайнем случае, и за счастье соединения с народом» («О любви к народу. Необходимый контракт с народом», февраль 1876 г.).

Хотя русская нация уже около двух столетий переживает тягостный раскол, в основе своей она сохранила единство, а следовательно, может преодолеть это временное разделение. И европеизированная интеллигенция вернется к народу: «...блудные дети, двести лет не бывшие дома, но воротившиеся, однако, все-таки русскими, в чем, впрочем, великая наша заслуга». А народ сумеет принять ее и понять, возможно,

потому, что и у тех, и у других есть общая национальная идея: «Национальная идея русская есть всемирное общечеловеческое единение» («Примирительная мечта вне науки», январь 1877 г.).

Но, оставаясь человеком широких взглядов, чуждый национальной ограниченности, Достоевский вовсе не утверждает, что идеал всечеловечества может быть заложен только в русском народе. И тут нам есть чему поучиться у Запада — как, оставаясь представителем своей нации, подняться к высотам общечеловеческого гуманизма. В мартовской книге за 1877 год, в статье «Похороны “общечеловека”», он помещает рассказ о старом докторе-немце (впрочем, по-видимому, обрусевшем), настоящем праведнике, 58 лет прослужившем в беднейших кварталах провинциального городка на западе России. Он мог отдать

последние копейки, чтобы нищая роженица сварила себе суп, завертывал новорожденного в свою рубашку, покупал на свои деньги корову больному многодетному семейству. Достоевский замечает, что делал он все это по-немецки основательно, методично, даже с немецким лукавством. И над могилой праведника происходит единение всех жителей города всех конфессий: протестанты, православные и иудеи плачут и молятся — в этом прообразе всемирного братства видит Достоевский разрешение пресловутого национального вопроса. Вобрать в себя многонациональное, всеобщее, впустить в душу мировую скорбь и боль, оставаясь самими собой, как это умел делать Пушкин, как это делал старый доктор, — вот цель, стремление к которой и должно сформировать русский национальный характер.